

Историческая Федеративная Советская Республика.

---

*„Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“*

ПИМЕН КАРПОВ.

# ТРУБНЫЙ ГОЛОС.

РАССКАЗЫ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

Москва.—1920.

1-я Госуд. типогр. (бывш. т-ва Сыз и а), Пятницкая, 71.  
МОСКВА.—1920.

# Подспудные ключи.

1

## На родине.

Я—на родине, в глухой, затерянной в овражных трупобах деревушке.

Ночь.

Дымные избы, точно саваном, покрыты снегом. Заметены следы и дороги, по ночам огней не видать из окон за сугробами. Но когда окунешься в родную мужицкую стихию, увидишь, какая тут полная и кипучая жизнь.

Жизнь — сказка. Будто и забыта всеми и обижена Золушка-деревня: копать в тесных, вросших в землю избах; по улицам сугробным угрюмо, точно запутавшиеся в кустах совы, передвигаются люди в каких-то балахонах-зипунах, в осметках и деревянных колодах (салог в помине нет, да и лык на лапти). Грязные косматые лица (за фунт мыла дают пуд хлеба, и то не достать). И стужа, как огонь жжет; пронизывает тонкие мокрые зипуны, воет лютым волчьим воем...

А встретишь, разыщешь в копоты и вьюжной мгле страдные мужицкие глаза, каким немеркнущим радостным светом засветит оттуда тебе прямо в сердце!

И все это—земля, земляной дух. Вовсе не наживы и сытости, как ворон крови, искал мужик в земле. Вовсе не дрожит он над своими, добытыми кровавым потом зернами, как скряга над золотом. Земля—это магический круг для мужицкой души, песня его затаенная, светлый град, царствие божие.

За нее он на все пойдет, все перенесет из-за нее. Земля отдана ему всецело и безраздельно; что может быть выше и радостнее этого, какая песня еще прозвенит узывнее?..

И жизнь в деревне бьет скрытым кипучим ключом. Стужа, завывая волком, гонит всех под кров. И вот там, в избах-читальнях, в сборнях—сколько жарких дум передумано, сколько мирских дел поделано! Да и теперь еще делают: собирают последние полшубки для стынувшей в окопах Красной армии, жер-

твуют зерно и сею для нее же, картофель; записывают для красной кавалерии и обозов трудовых своих лошадей; ссылают добровольцев, гонят новобранцев на обучение. Мало ли еще каких дел!

Вот хоть бы налог взыскать — не фунт ведь изюму съесть. Давно, должно быть, богатенькие пронюхали про налог, да загода и посбывали все со двора. А теперь ищи ветра в поле! На кулака налог, а он в голос: я такой же пролетарий, одня у меня стены, скотину всю сбыл на пропитание, потому я одноквй, дескать, землю отобрали...

Москва слезам не верит: в тюрьму. В тюрьме сидит кулак, а денег нет, кз нет. Приходится бедноте и среднякам самим тянуться в струнку: государство советское надо ведь держать. Ну, и подтягиваются: кулаки из тюрем не уйдут, после разговор с ними будет.

— Мы на все пойдем, — твердят селяки. — Последний хлеб товарищам-рабочим отдадим, последние гроши отдадим в подать... Без этого нельзя... Лишь бы землю удержать... А только и товарищам-рабочим не надо забывать деревню... Мы тоже измаялись... Хоть и хлебушко есть, да не рад будешь и хлебу, коли окромя ничего нет... Вша заела... На рубаху ситцу за тыщу не достать... Опять же керосину, соли, мыла, гвоздей нету... Хоть караул кричи!.. Обуться не во что: пара лаптей до ста рублей доходит... А разве мы на заработки ходим?.. Все тут с зернушка... и отопление, и освещение, и обувка, и одежда... Чистое горе!.. Ну, да как-нибудь поправимся... Лишь бы контрреволюция не нагрязнула... Тады всем крышка... Одначе, отстоим!.. Отстоим землицу-матушку!..

Звездная зимняя ночь. Кругом, точно пустыня неизследимая, — снега и снега; будто ничего больше на свете и нет: ни городов, ни государств никаких; есть только синее звездное поле вверху и белое звездное же от искр снега поле внизу; и меж ними — тишина...

Но в заваянных саванами-сугробами избушках кровавыми углями рдеют огни: там бьет жизнь под спудным, кипучим ключом...

## II.

### Читарь.

Не вытравлены, не выжжены еще огнем очистительным наши темные колдовские закоулки, глядят еще они мутным взором проклятий и безумий из иных наших деревень.

Был у меня в соседней деревушке друг закадычный Селифон, читарь сельский и прозорливец, заправила гольтыбь. Жил он на краю своей забытой, богом и людьми деревни, в полуразвалившейся плетневой мазанке, ходил зимой и летом в одном и том же

рваном кожухе и, знай, воевал с кулаками. Теперь он в гюрме из-за кулаков.

Те, себе на уме, против Советов ни-ни, даже в ячейку записались. Но на Селифона точили зубы: бобыль, а туда же, учить настоящих хозяев вздумал, статочное ли это дело?

А бобыльство Селифона не от лени. Планида уж у него такая—бедствовать: куча детишек, мал-мала меньше, больная, никуда не сползающая с печки старуха-мать, а, главное, лютая, сварливая жена, глупая баба, где же тут вольтотиться?

Но это не пугало читаря; сам чорт ему не брат. Да и хозяйева хоть и лютовали на Селифона, а все же шагу без него не могли ступить. В весеннюю запашку ватаги мужиков от зари до зари колобродят по полевым загонам и сажнями и вехами—делят землю. Калякают о земельном законе, о политике. И больше всех и яростнее кричит Селифон. Да и то сказать: растолковать закон невиданный, разделить господское добро поровну, без обиды—кому это по плечу, кроме Селифона? Одно слово, читарь: без него, как без рук.

Ну, и молчали кулаки. Пилила только, грызла жена, лютая баба, за начитанность эту самую, за книги. И, правда, с книжкой или газетинкой не расставался Селифон нигде. Как достанет книжку или газету, так, бросив все, и бежит в сборню. А завистники ехидствуют, плетут уже свою дьявольскую сеть:

— Зачитался малый... Хозяйство извелось до последнего, а он с книжками... С ума никак спятил...

Ничего не видел, не слышал Селифон, знай, громил скряг-богатеев и прорикал:

— Говорю вам по откровению... Всех царей и королей сгонят с тронов, судить будут. И первого из них—Вильгельма кровопийцу... Близок час!.. Всемирная революция грядет... Книги у меня такие особые есть, где все это прописано... Да и газеты такие есть, особенные... Вам, дуракам, не достать...

— Колдовские книги, сатаинские газеты, что ль? — ехидствовали завистники.—Ты—чернокнижник, стало-ть?..

— А хоть бы и так? — встряхивал головой Селифон лихо.

Темны лесные жители, жуть наводит на них всякое предсказание, особенно из неведомых каких-то книг и газет. Прошел по деревушке слух, будто Селифон с нечистой силой якшается, черные свои книжки у них достает, да и предрекает по ним. Больше всего шалтали об этом бабы да старики. Жена-Яга так и кричала на весь околоток:

— Снюхался с нечистью, бросить меня с детьми хочет, в город к шкурехам уйти? Читарем стал, читарку в пары тебе надо? Я те почитаю, губитель!

Бил ее уже через маету свою Селифон—не помогло. Убежать бы в город от лютой бабы и взаправду! Эх, и что это за голь да темь деревенская, нет ей конца, да и будет ли?

— Ты не кричи...—грозил Селифон жене.—Не срами на миру. А то взаправду брошу, уйду в город.

— А-а-а!..—взбеленилась баба.—Вон что! Книжки это все наделали твои дьявольские! Подожди же у меня. Заявлю в комитет про шашни-то твои, живо схватят!..

Завистники кумекали, прислушиваясь к брани читаря с женой: дело налаживается, следить надо.

Как говорил Селифон, так и вышло; в Германии, да и во всем свете—революция, заворошка, Вильгельма уже ловят, чтоб казнить. Предрек по черным своим особым книгам прозорливец-читарь!

Только что-то о порядке часто стал он толковать. Рад он всемирной заворошке до смерти, да вот болеет о своей, русской разрухе.

— Теперь мы спасены... Всемирный пожар!.. — ликовал Селифон.—Работать теперь надо нам, прогулы наверстывать... Порядок надо...

Хозяева-бородачи ухмылялись ехидно. Знали: в беспорядке, что в мутной воде, можно кое-что поймать. Хлебец тишком сбить втридорога, или что... А за порядок ныне можно кое-кого и прибрать по рукам.

Ждали завистники-кулаки и дождались своего. Как-то под сердитую руку поколотил Селифон ненавистную свою, постылую бабу-Ягу. А та, не долго думая, в волость, в комитет:

— Ратуйте, благодетели наши, товарищи-отцы! Кровь мою муж выпил. С чернокнижниками якшается, мутит народ. Сама знаю... Глаза, как огни, у врага, от черных книжек... Заступитесь!

Нашлись и свидетели-доброхоты-завистники:

— Верно якшается Селифон!.. Этого так оставить кельзя. Потому мы, как коммунисты-большевики, обязаны следить за всем. Черносотенец, не иначе, раз черные книжки. Не даром о порядках завел он так рано. Прибрать бы его по рукам.

На завтра нагрянули милиционеры, бумагу об аресте Селифона треплют.

— Собирайтесь, читарь! В тюрьму.

— За что?—вскипел Селифон.

— За черносотенство твое, вот за что! Черные книжки читать любишь. С контр-революционерами якшаешься. Садись в телегу без разговоров!

— Дураки! Кулаков послушали?

— Не кулаки, а жена твоя донесла. И коммунисты подтвердили... Которые в ячейке...

— Дураки, я сам в ячейке членом!

— А-а, мы дураки? — взъерепенились стражи. — Ты советской власти не подчиняешься? Связать его!

С гиком и свистом увозят Селифона на телеге. Завистники подзуживают злорадно:

— Так и след. Потому о порядке больно рано запел.

### III.

#### «Канун».

Хоть кол на голове теши у наших мужиков, не переучить, не перешибить их. Заладит свое—и ни с места. Вот хотя бы про коммуны. Сперва выговаривали *комун*, потом—*канун*, на этом и сели.

В деревне теперь одна думка, одна забота—коммуна. Как ни верти, а с весны влетишь в коммуны. Сам не пойдешь, другие вволокут.

Изо дня в день наезжают в деревню, налетают точно ласточки перед весной, городские комитетчики. Все о коммуне речь заводят.

— Своей же пользы не понимаете, товарищи, — надрываются комитетчики.— В коммуне 8-часовой рабочий день. А поодиночке вы по восемнадцати часов тюжите, а толку никакого. В коммуне—книги, газеты, барское житье. А вы в ваших мазанках от копоти задыхаетесь.

Темны мужики. Жуть на них наводит «канун» этот самый. Особенно, если уговаривает городской какой-нибудь комитетчик, который и сохи-то в руках не держал. Вот с такими-то и влети в «канун»: он тебе будет лясы точить, а ты работай за него.

— Мы что ж, мы согласны на канун ваш, товарищ,—чешут мужики затылки с хитрецей.—Только, чтоб все работали за плугом аль на гумне. Никаких комиссаров в кануне чтоб не было! Лясы точить не желаем.

— Без этого нельзя, товарищи. Кто же будет глядеть за общим добром?!

— Ага! Вот где собака зарыта. Это, стало-ть, ваша городская выдумка—канун. Комиссарить над нами будете, а мы лямку тyani? Вот ежели уговариваешь нас в канун—останься у нас да поработай до седьмого поту, а тогда мы увидим. Так-то, товарищ. Докажи!

— И останусь! И докажу!

Занят был товарищ до зарезу, полуезда надо было объехать, чтоб доказать, остался в имении простым батраком.

Зимой дел не ахти в имении, да все ж была работа.

Заставили его дрова возить. В пальтишке на рыбьем меху, щиплый, тщедушный, кряхтит товарищ над запряжкой, мучит себя, не ладится у него.

— Товарищи!—бежит он к бородачам.—Покажите, как запрягти. В первый раз. Потом я сам уж.

Ухмыляются бородачи. Но показывают.

— Спервоначала, конечно. Одначе, малый старательный.

Пошла работа у товарища, как по маслу. Навозит дров, наколает, да еще за скотиной ухаживать бежит. Работа так и кипит.

Видят мужики—зря ломались. Работник из комитетчика хоть куда. С таким не зазорно работать.

— Молодчага!—хвалят бородачи.—Видим, твоя правда. В кануне-то еще больше сработать можно, ежели по совести, один перед другим.

Ликует товарищ:

— Вот! С весны, значит, и начнете работать коммуной?

— Быть по-твоему!

На том и расстались. Умеючи нужно обхаживать наших мужиков.

#### IV.

### Маруся-огонек.

В летнюю горячую страду наша Березовка мертва и пустына, — жизнь в полях. От зари до зари льется над червлым пологом солнечный звон кос, огненными языками лижут спелую рожь серпы. Тут же вырастают сплошным городом скирды, и по расчищенным токам сыплется ярая дробь цепов. Целые семьи днюют и ночуют в поле, варясь, как в котле, в страде без отдыха, в зное.

Зато какой радостью встречают землеробы зиму — освободительницу от мук! Хоть хмуры зори и темны дни, но души труженников расцветают весенними цветами—трепетом отдыха, песен, игр.

Березовки не узнать в эту зиму. Куда девались драки, отчаянный разгул? Огненная волна взмыла, захватила темь и истлела она, как мусор.

У нас еще так недавно смотрели на читарей и искателей, как на чудаков, блажных. Теперь не то. Вся любовь, весь трепет пробужденных душ—им.

И искатели знают, какая это высокая награда—любовь чистых сердец. И платят за нее сторицей.

Тут все больше своя же молодежь из вызревших в тяжелой и мудрой школе жизни: чтецы, актеры-самородки, сказатели. Все они сплотились в кружок и работают не покладая рук. Из недели в неделю устраивают в избах-читальнях, в народном доме

вечера. Читают, рассказывают, представляют; учат мужиков. Да и сами учатся: у всех затаенная мечта—дать больше, чем дано, работать над собой, достигать. Но не изжита, есть еще у нас косность жестоких и темных: весь пыл, все горенье даровитых деревенских искателей разбивается о нее, как вольная волна о скалу.

В Березовке две школы, народный дом, две избы-читальни. Народу в них по вечерам полным-полно. Особенно в народном доме, там играет в спектаклях вместе с другими Маруся, крестьянская девушка.

Да ведь как играет! Диву даешься, откуда у ней эта правда в лице, этот переливчатый голос, с усмешечкой, с шепотком, с легкой грустью? Ну, живет на подмостках, да и только. И никак ее не узнать: сегодня она задорная молодайка, завтра — купчиха важная. И голос разный, и походка не та, и лицо другое, загадочное. И все ж это — Маруся-огонек, так прозвали ее за голос ее лукавый, за трепет, что передавался ею всем, кто слушал ее, любовался ею.

Полюбили ее селяки. Души в ней не чаяли. Из соседних сел толпами наезжали глядеть. И всех она пленяла.

— Учиться бы Марусе... в Москве студии такие есть пролетарские...—говорил учитель Егоров, чудаковатый, вечно увлекающийся Егоров. — Талант у Маруси несомненный. Актриса была бы первоклассная. В Москву бы ее... Средств только вот нет.

— Верно!—подхватили остальные.—Надо учиться Марусе. Денег достать можно.

Надумали устроить спектакли платные. Марусе на учење собрать в Москву. Так и сделали.

Но завистники тут как тут. Пустили слух, будто деньгу кружок зашибает, крадет их, а Марусе хотят в Москву на спекуляцию целую тысячу отвалить.

Узнали в комитете уездном. Приезжает вдруг в Березовку матрос с винтовкой за плечами. Требует на расправу кружок.

— По какому праву деньгу загребаете? На спекуляцию в Москву?—гремит матрос («Я внешкольным делом ведаю», хвалился он).—Почему буржуазные пьесы ставите? Чтоб больше денег собрать? Не смей платных спектаклей устраивать! А не то к стенке!

В кружке переполюбились. Учитель Егоров попробовал было вразумить матроса, да ничего не вышло.

Так и не поехала Маруся-огонек в Москву, в пролетарскую студию. Да и играть-то больше в народном доме не играет: того ч жди, доиграешься до стенки. Не велика радость!

## V.

**Лазарь четверодневный.**

Есть такая легенда древности: когда на четвертый день смерти, воскрешенный Христом, вышел из гроба Лазарь, властители Иудей, узнав об этом, преисполнились яростью:

— Как смел смерд без их воли выходить живым из гроба?

И повелели властители: словить дерзкого выходца из гроба, выколоть ему глаза и бросить в дикое пустынное ущелье, в пасть дракону. И ослеплен был Лазарь; и лютый дракон терзал уже его, вверженного в ущелье; как вдруг неукротимыми копьями прозвенела над ущельем молния и поразила дракона на-смерть. Лазарю же вернула его извечный незакатный свет.

Так вот, словно Лазаря четверодневного, рвут еще трудовой народ наши лютые драконы черных полчищ, голода, мора; обвивают багровым кольцом тело его, выклеивают ему глаза.

Но живо и незакатно солнце свободы; жива бессмертная душа народа, воскресшего, после новгородской вольницы, через четыре века—четыре дня.

И близка, слышна уже последняя всесокрушающая молния над черным ущельем драконов, раскаты ее гремят от края до края; океан ослепительного, яркого света вздымается уже перед прозревшим взором измученного народа-труженика.

В самые темные захолустья, среди самых забытых и отверженных толщ бедноты вскипает и пенится, словно половодье, неукротимая жажда знания, света. Строятся школы, открываются избы-читальни, народные дома, в больших селах—народные театры. И все это—дело рук деревенской восторженной молодежи, что вошла и в Советы (сельские и волостные), и в кружки просветительные, и в школьные комитеты.

Одна беда—нет освещения; по вечерам приходится работать при свете «каганков»-светильников. И еще беда—главнейшая—нет хороших, «серьезных» книг. Как томятся по ним в деревне! За десятки верст пешком ходят, чтоб только записаться в какой-нибудь счастливой на такие книги библиотеке в очередь. Больше всего гонятся за журналами, хрестоматиями, сборниками. Брошюры приелись, да и много непонятных слов в них понапичкано, словарей же тоже не сыскать: вот в чем боль и жалоба деревни.

Больше художественной литературы в деревню! Больше книг по всем отраслям знания! Молодежь деревни жаждет не только подвигов в огне борьбы, но и творчества в тиши уединения; ищет не только временного, но и вечного, непреходящего.

И не только молодежь. Зашевелились, пробудились от вечного сна и пожилые—Лазари четверодневные.

Я хочу рассказать об одном таком мертвом Лазаре—старике-соседе Трофиме. В ранней молодости, палимый огнем исканий и преobraжений, исходил он Россию вдоль и поперек; был у знаменитых когда-то богоискателей, был у Толстого, обошел все монастыри, скиты и сектантские общины. Но, должно быть, не найдя нигде правды и родных голосов мятущейся своей душе,—вернулся домой, на скудный свой нищенский надел. И тут, спившись с тоски и отчаянья и обалдев, замолк и заснул звериным слепым сном, казалось; навеки.

Но вот прогремела гроза освобождения и воскресения, — и, точно вскропленный живой водой ожил, воскрес Трофим. Нио чем ему и старость,—знай, мечется по Советам да отделам; громовым своим голосом корит нерадивых и жестоковыхных, бодрит и восхваляет честных и правоправящих; стоит за бедноту, несокрушимый и бесстрашный, как сама гроза. А горой за него—беднота.

Теперь он заведует волостным отделом народного образования. С лицом страшным, опаленным, изрытым оспой, точно бороной, с вытекшим правым глазом—похож он скорее с виду на каторжника, чем на искателя и просветителя. Но когда дотронешься до его нежной и благородной, пламенной души,—каким благодетельным светом глянет на тебя сама мудрость! Говорит ли он с другом, говорит ли с врагом, выступает ли на собрании,—какая радость слушать образную его, громовую, пересыпанную меткими пословицами и прибаутками, ядреную мужицкую речь! Так как он беспартийный, только «сочувствующий»; то у него много политических противников, но и они все с восторгом выслушивают его до конца и провожают с трибуны возгласами радости:

— Браво, Сашков! Хоть и враг ты, хоть и беспартийный, а молодец! Дело говоришь!

А говорит Трофим Сашков больше о восстании души, о мятежном, бессмертном духе. Оттого-то и выбрал он себе любимое дело—дело образования, что тут ему можно развернуть свои силы, чтоб всколыхнуть и вылелеять самое бесценное для него и святое—душу народную, переплавить ее.

— Пока душа не переплавится в огне грозы, дотоль все разговоры о коммунизме—горох о стену,—говаривал Трофим.—Значит, первейшая наша задача—переплавка душ... Вся грязь корысти, лихоимства, жестокости, себялюбия выжечь надо из наших душ каленым железом. И тогда только в коммунисты записываться. А какой же ты коммунист, ежели ты состоишь в партии, да рука-то у тебя загребушая и лют ты, как сто жандармов? Вот то-то и оно! А я—что ж, я запишусь в коммунисты, ежели отхожу свой срок и останусь чист-непорочен. Тогда и запишусь.

И все знают, что Трофим сдержит свое слово, запишется. Потому, что душу свою воскресшую и светлую отдал народу и ничего взамен не взял.

Воистину, душу отдал: хоть мудр он и начитан, хоть знает он наизусть поучения Толстого, Руссо, Сковороды, хоть и преодолел мудреные книги о социализме, а все ж надо еще полнить и полнить душу и ум знаниями, прозрениями, разгадками. И Трофим ночи просиживает над книгами, днем же кипит у него работа в отделе: тут собрание учительское ведет, там бежит читарей из изб-читален проверить, инструкторов новых раскусить, не жидки ли и зелены. А дальше—заботы о кружках самообразования, о представлениях-спектаклях, об учебниках, о завтраках горячих для детворы,—горит Трофим, погорает на жертвенном огне!

И весь его жертвенно-радостный путь прорезывает огненным языком один клич, одна мысль:

— Переплавливайте души! Идет последняя революция—революция духа. Идет освобождение духовное — высшее из освобождений!

## VI.

### Ревком.

Жил у нас рабочий Резников — взъершеный, высушенный жизнью, с горящими фанатическими глазами, старый, заслуженный работник революции, неугомонный бунтарь. Жил, и нет его: убили.

В черную пору николаевщины он был грозой жандармов; не одну заворошку подымал он в незабвенный пятый год в деревне. Дорого оценена была его голова, и когда словили его где-то под треск полицейских браунингов и улюлюканье штыков, то его не вели в тюрьму, а волокли в застенок, привязавши к хвосту лошади. Ну, конечно, пытали огнем и железом, судили полевым судом. И все же, перед казнью, он убежал. Только одно осталось у него от всего этого: непереносимый, страшный, суровый огонь в глазах безумных.

В октябре он первый был, кажется, в пролетарских рядах в Кронштадте (куда его только не забрасывала судьба и жажда борьбы за освобождение трудящихся!) Потом он очутился у нас, в курской глуши. И тогда же под его главенством поделено было крестьянами господское добро и взята земля. За Резниковым деревня готова была итти в огонь и в пучину.

Он был максималист, но мужики плохо понимали это слово и знали только одно: Резников—святой, борец за мужицкую долю неподкупный. Что он говорит, то и нужно делать. И делали.

Прошли у нас выборы в уезд. И вот, заговорил Резников вдруг так: «Много всякой швали попало в уездный исполком. Есть уголовняки, есть прохвосты и даже офицеры-чиновники, перекрашенные в красный цвет: пьянствуют все, безобразничают; перевыборы надо сделать».

А сказать правду, мужики у нас злились уже, побряхтывали от реквизиций—последний хлеб у них некоторые ретивые отряды отбирали под пьяную руку, а платили шомполами за хлеб этот самый. По душе пришлось им слово Резникова: куда смотрит уездный исполком?

Затеяли перевыборы. Поехал в город сам Резников.

— Контр-революция! Бунт!—всполошились вдруг в уездном исполкоме.—Надо пресечь в корне!

— Какая контр-революция?—рубил Резников.—Мы по конституции. Выборы неправильны; одна пятая часть населения имеет право требовать перевыборов.

— Попробуйте только!—кричали в исполкоме.—В порошок сотрем!

Метал сухой огонь, но молчал Резников. Но на завтра три волости—пятая часть уезда—уже выбрали ходатаев по перевыборам исполкома: больше теперь немогуту, из-за шомполов житья нет,—кряхтели мужики.

На сходах—крик, гвалт, потасовка: одни—за перевыборы, другие против; все озлоблены, возбуждены; дело доходит до драк. И никто не поймет, в чем тут загвоздка, из-за чего гоняют на сходы каждую неделю.

— Надоело!—кричат одни.—Кого ни выбрали—так тому и быть! Некогда перевыборами нам заниматься! Теперь день четвертной стоит.

— Как же так, товарищи?—возмущались другие.—А мирские вопросы решать—разве это не дело? Что такое советская власть? Это значит—безобразников мы можем выбрасывать из Советов в любое время! Вас бьют шомполами? Раздевают на морозе, отбирают у вас последнюю корову, последний хлеб? Стало быть, исполком не годен. Самогон только дуют, черти, а за делом не следят. Переизбрать! В Москву жалобу послать, коли упираться будут!

Все три волости порешили: переизбрать уездный исполком. Был тут и Резников на совете, одобрил сметку и расторопность ходатаев, напутствовал их, как надо действовать, и ушел,—сам он был болен, лечился в деревне от чахотки, не до канители ему было.

Долго ли, коротко ли канителились ходатаи, только разнеслась вдруг по округе непокорной весть, что из города идет отряд—ловить зачинщиков, а заодно и шомполовать участников съезда трех волостей, перво-наперво—Резникова. И другая весть, гор-

шая: ходатаев члены исполкома или кто-то там из чрезвычайки арестовали, в тюрьму законопатили.

Забурлила, заволновалась округа. Отыскались в каких-то трущобах винтовки; горячие головы, порасхватав их, двинулись навстречу отряду. Напрасно благоразумные удерживали сумасбродов, твердя, что у нас пока в уезде не *исполком*, а *ревком*, — а ведь ревком избирается военными и на время, пока бои идут. Напрасно! Благоразумных не послушали, пошли грудью за ходатаев своих, за заступника своего, Резникова. Встретились где-то в овраге: открыли перепалку; обезоружили отряд, в полон привели.

И тут только поняли, чем это пахнет. Пошли перекоры, попрёки между сумасбродами, сваливание вины с больной головы на здоровую. Кулаки, схватившись за головы, были источным воем; но и не дремали: под шумок вытаскивали из ям новые запасы винтовок: выкопали откуда-то два старых пулемета. А потом, под зорю, ударили в набат—из села в село.

За большаком, что ведет в город, стекались вооруженные толпы бунтарей и кулаков—на бой с силою исполкомскою. По холмам гарцовали верховые-разведчики, взвивались в предутреннем сумраке огни сигнальных вышек: идут по большаку из города каратели.

— Ну, теперича, братцы, держись крепко!—бодрились заправилы.—Все равно нам пропадать... Попадады теперича нам не будет. Всех—к стенке приставят, ежели не удержимся. Хоть их, говорят, и целый полк идет на нас, красноармейцев-то.

— Наплевать!—фыркали сумасброды.—Не таким-то хвосты подкручивали, а эти—молокососы, куда им супротив нас, мужиков?

Фыркают, а у самих руки трясутся и зубы стучат: там—полк, а тут—раз, два—и обчелся... Не миновать стенки... Дернул же всех чорт, очертя голову, переть на рожон!

И вдруг, будто от зари, засветились у всех лица радостью. По стану пробежал шопот: Резников тут. С этим не пропадешь, этот найдет выход, спасет.

А Резников, бледный, как смерть, выступив вперед и паля всех сухим своим черным огнем страшных глаз, кричал уже глухим, больным криком:

— Безумцы, что вы делаете? Разве вы не понимаете, что вы обреченные? Вас раздавят в два счета. Бросайте оружие! Довольно крови! Я берусь переговорить с ревкомом. Вот разница в чем: у нас теперь не *исполком*, а *ревком*. Тут недоумение. Оказывается, *ревком* нельзя переизбирать. Конституция советская не предусматривает этого. Ну, а раз ревком,—переизбирать его могут только красноармейцы. А мы не имеем

права. Я... изнервничался, чахотка доконала меня проклятая. Но я все улажу, постойте... не кричите!

Но крики вздымались выше, толпа неистовела. А по большаку мчались уже конные дозоры ревкома; из оврагов сыпалась ружейная трескотня. И вокруг Резникова вдруг вихрем поднялась буча: все лезли на него, обезумевшие, свирепые.

— Разорвать его! Иуда!...

— Братцы! Товарищи! Я все улажу... Подождите тут... Ревком...

На этом и заглох больной, чахоточный крик бредового, страшного Резникова: кто-то прикладом размозил ему череп, так что кровь и мозги брызнули горячими брызгами.

А когда на выкинутый белый платок в стан к мужикам пришли переговорщики от ревкомской части, мужики в один голос протолдонили, пыряя пальцами в залитые черной рудой пополам с серым мозгом вывалившиеся яблоки глаза Резникова:

— Вот он, Иуда!.. Канитель завел... Возьмите его!.. А только не шомполуйте нас, Христа ради... Мы не виноваты...

## VII.

### Легенды дня.

В читальне-избе духота, давка, теснота—яблоку негде упасть. «Каганок», тусклым своим языком огня вылизав масло, чадит, потом, потрескивая, гаснет. Темь в избе.

— Ну, а теперь рассказывайте, кто во что горазд!—подает голос из угла читарь.—Нету больше масла!

— Ты сам расскажи,—гудит толпа.—Вот хотя б про Ленина... Правда ли, будто из американцев он?

— Нет, русский он, доподлинный. Ульянов его фамилия. Да еще к тому ж—из мужиков он.

— Взаправду? А!.. Из мужиков—значит, наш, значит, не выдаст.

— А все ж больше за город тянет он, кажись...—юлит читарь.—Оно, правда, рабочие больше ему по душе, чем пахари. Потому, много среди нашего брата кулаков развелось.

— Да и среди рабочих буржуев не мало!—язвят в ответ.— В дворцы, вон, пишут, попереехали на жительство, рабочие-то. Электричество у них, люстры. А у нас—вишь?

— А в дворцах-то холод ежели,—не больно рад будешь и дворцам.

Хочот. В темноте огоньки цыгарок, покрехтыванье, вздохи. Калякают мужики о том, о сем, а клонят все на одно—на Ленина, на сказки и правду о нем.

— Вот силища-то!—дивятся мужики.—Весь мир ополчился на него, а он и ухом не ведет. Всех скрутил, всех объехал. Ума палата! Праведной души человек. А, может, антихрист? Почему знать!

— Слово одно такое знает он, говорят...—шамкает где-то в пороге старик какой-то.—Как скажет это слово, так всех и затмит. Опять же. Разрыв-травой владеет он, говорят. Никакая сила супротив него не устоит теперь. Ни ангелы, ни архангелы. Потому с антихристом спознался.

— Не устоит! Против него не устоит никто, это верно.

И опять толпа жадно расспрашивает, пытается читаря о житье-бытье Ленина, о колдовстве его и праведности. А читарь, чтоб не ударить лицом в грязь, поет, заливается соловьем в красном куту за столом, описывая в темноте круги огоньком цыгарки. Тут и Христос, и Маркс, и Магомет, тут и чудесное знамение, предрекшее рождение великого пророка и вождя—Ленина,—невиданная комета хвостатая, и казнь брата Ленина, и отмщение за эту казнь—и пошел, и пошел, не остановить.

— В младенчестве, как и Христа, Ленина тоже хотели похитить,—надрывался читарь,—цыгане хотели похитить, подосланные буржуазией. Но чудесная комета и тут спасла будущего великого вождя.

Уже за полночь. Нехотя расходятся мужики из читальни на свежий, крепкий мороз. Вверху над ними уже алмазная звездная россыпь. Задрав бороды, гадают мужики по звездам о судьбах мира, разыскивают в колдовском свете неба невиданную хвостатую комету, грозную комету Ленина.

## VIII.

### Выборный поп.

Кажись, чрезвычайка уездная приказала долго жить, скапустилась. Туда ей и дорога!

Если я вспоминаю, так это из-за попов и сектантских кормчих. Труханула их чрезвычайка не на шутку! Никто не выкрутился из-под ее всеобъемлющей длани—ни праведные ни неправедные. Были дела, не к ночи будь помянуто.

Кормчих сектантских и начетников (их тут вдосталь) чрезвычайки просто-напросто отдули шомполами до кровавых шматьев на спинах и, строго приказав им показываться впредь на свет божий, отпустили. А с попами—особь статья: этих мало того, что шомполами,—еще и увозили в «баню» (тюрьму), а иных, строптивых, и к стенке приставляли. Теперь поугомонились попы, стали тише воды, ниже травы, едва дышат.

Батя хотя бы нашего, березовского попа. Не из стропти-ных он в себе хорохорился, задирает нос. Мужикам на это начхать, но прощай пайка пронохла. Задали нашему попу жару. В ногах ползал у мира, просил заступы. Ну, правда, заступились,—безвредный ведь он был, к тому ж вдовый, с кучей малышей. Не было конца радости попа. Целует батя всех, называет всех дорогими товарищами, носит впереди толпы красное знамя.

— Я из воли мирской никогда не выхожу,—лебезит он.— Меня тоже душил старый режим... Архирей там, начальство. А теперь—свобода!

Рады и мужики на своего батю. Против церкви мужики, даже беднейшие из бедных, туго идут, да не только против церкви, а против обрядов: в мозги костей вошло это у них, от предков. Когда-то еще будет изжито то, что ныне в плоти и крови мужика, и чем заполнено—покажет жизнь; изживать же, вытравливать веру насильно—опасно и грозит бедами.

Приезжали сюда комитетчики, забрали все книги и записи, опечатали было церкви, сектантские молельни. И потом сами раскаялись: мужики—сектанты и православники—подняли целую бучу, с набатом, угрозами, безумными выкриками. Особенно ярлись сектанты. Да и православники: когда комитетчики затеяли открывать в церкви потребилровку,—все православники запротестовались, чуть ли не самосуд над комитетчиками устроили. Сорвали печати посланцы.

Книги из церквей и молелен комитетчики все же увезли. И вот остались попы не у дел: и милость вымолили у мужиков, и за судьбу свою успокоились,—а не у дел. Как требы вершить без книг? Отказались попы.

Прикрылись требы. А без треб церковных мужикам сумка,—даже малoverным. Погребать, венчать, крестить,—без этого не обойтись. Пустота без этого.

— Я, конечно, не верю в мощи там, в чудеса...—говорил тот же Сашков, искатель правды извечной.—Но вот смерть, к примеру, это—великая тайна... И отнестись к ней мы должны с благоговением. Не верю я и попам,—жулики они все, а все же есть умильтельные погребальные песни. Слеза прошибает. Зачем их уничтожать? Зачем, к примеру, евангелие или псалтирь жечь? Это—великие книги. Подрастет новое поколение, оно разберется, где правда, где ложь... А теперь не будем беречь старые души. Перерождать, просвещать надо души заблудшие, а не беречь. А мы именно берем, когда издеваемся над его погребальными умильтельными песнопениями... Али там—венчаньем... Али—крещеньем...

Старые шустрые попы втихомолку венчают, крестят, погребают без требников—набили руку. Многие же, хоть и знают наизусть требы, а ломаются—дайте, мол, книги, тогда будем править.

Был тут в одном захудалом селишке попик, лядащий такой, но спесивый. Стоит на рогоже, а говорит, как с ковра:

— Не убоюсь ни стрелы летящей ни чрезвычайки бесовской...—вещает он.—В душе моей Христос, как и я в нем, все приемлю, всему радуюсь, ибо царство духа—не от мира сего. А все же без книг боговдохновенных и пастыренаставниками освященных не могу править служб и треб. Погребайте, венчайте и крестите сами!

Надоело это мужикам. И сказали так они: выбрать своего, мужицкого попа, из начитанных.

Сказано—сделано.

Выбор пал на Илью Кузьминичева—набожного старика, усердного клиросника и знатока церковных уставов. Как ни упирался тот,—заставили служить.

Попик рвал и метал, доказывал, что де благодать священства передается только от епископов, правопреемников апостольских, через рукоположение и миропомазание,—мужики не сдавались.

— Эка невидаль — архирей, епископ! — ухмылялись они. — Да мы сами, миром благодать эту передадим выборному бате. У Бога все люди равны. Что архирей, что мужик, — все для него едино.

И вот, в тесной деревенской церковушке рукополагал в сан иерейский Илью Кузьминичева мир. Народу собралось из соседних деревень видимо-невидимо. Гремел громом весь день церковный перезвон, пылали зажженные паникадила, свечи в руках прихожан,—к рукоположению готовились как избранные, так и миряне истово и благоговейно. И только хихикали в кулак попы из ближних сел.

— Что-то они тянут долго. Не знают, верно, с какого конца начать. Хи-хи, потеха!

Но мужики начали. Под громовое пение псалмов и стихир надели на Илью епитрахиль, ввели через врата славы в алтарь, к престолу. А потом, в наступившей тишине и жути, селянский председатель, воздев руки, воззвал к неведомому Богу грозно:

— Ты не осуди нас, праведный Судия... Пошли твоего Духа на нашего избранника... Свящительником, значит, избрали мы его... Аминь!

И все подтвердили грозным шопотом:

— Аминь!

Так избран был и рукоположен миром в попы простой деревенский мужик Илья Кузьминичев.

И служит он теперь, и требы правит по своим же книгам не хуже прежнего спесивого попика, а если вникнуть в суть, то даже и лучше.

IX.

Поэт из деревни.

В грязи, в копоты, задавленные нуждой и черным крестьянским трудом, маются в деревне, мучаются даровитые юноши, ищут просвета в ночи, выхода из заколдованного круга—и не находят.

Проезжал я тут селом одним за дровами, и вот встретил нечаянно одного такого юношу—поэта из деревни, товарища своего давнишнего. Когда-то мы с ним вместе блукали по белу свету, ища заработков, корчась от вечного голода. Суровый и злой ветер жизни развеял нас, как осенние листья, в разные стороны, и надолго мы потеряли друг друга с глаз.

Как вдруг эта встреча. А я как будто и забыл, что ведь мы земляки, из одного уезда, из одной колыбели—лесных трущоб.

Теперь товарищ мой крестьянствует так же, как и я. Чистит хлевы, носит скоту корм, пилит в советском лесу дрова для города. А ведь когда-то стихи его трогательные и глубокие печатались в журналах; даже книжка стихов была им выпущена в Питере. Но так как он подлинный крестьянин, а не самозванный, крестьянин по кровавому поту и мозолям, то его забили более сильные, обеспеченные и пронырливые. И теперь он молчит, и томится по песням, и таит в сердце пытки непереносимые. Разве споешь что-нибудь, не разгибая целый день спины за пилкой, разве загресишь цветами и ангелами, и зорями узывными, когда в тесной, полуразвалившейся мазанке копоть, удушье, темнота.

И поэт из деревни молчит, не поет узывных песен.

— Ты бы встряхнулся, товарищ,—говорю я ему.—Проехался бы на время куда-нибудь, освежился бы от этих трущоб.

— А сам-то ты—уехал?—смеется он в ответ горько.—Тоже ведь хлевы чистишь? Ну, так и молчи! Ты три книги выпустил, да и то под лучиной сидишь. А куда уж мне!

Помолчав, он заговорил с жаром, с дрожью в голосе:

— Я не о себе. Я-то,—кровавым потом, мозолями, муками нечеловеческими, может, выбьюсь на настоящую, широкую дорогу. Потому что хоть и мало я жил, но пережил много, и знаю людей. Но вот те, что только пробиваются робкими ростками—в школах, в кружках самообразования, просто по хатам. Ты знал Миронова Ваню? Помнишь, как он рисовал? Карандашом одним! Без всяких указок! А где он теперь? Хлевы чистит, как и мы. Да мало ли! А Сению-скрипача знаешь из Любимовки? Вот мы с тобой слышали, помнишь, в Питере скрипача, профессора, на вечере курсисток. А такого огня, как у

Сени — у профессора нет... не было. А где теперь Семен? В навозе копается, копать глотает.

Как-то читал я в газете про пролеткульты. Знаю, кто там теперь примазался под видом пролетариев и крестьян: интеллигенты. Ну, да это с полбеды, а беда в том, что деревню забыли, деревенскую даровитую молодежь ни в какие пролеткульты не только не приглашают, но даже чураются, по всему видно. Ну, а насчет нас, поэтов-самоучек, не прославленных друзьями — говорить нечего: даже если и поедем мы в Москву, скажем, — на нас будут там смотреть, как на орангутантов. Оборванные, издерганные нуждой и трудом — мы вызовем не сочувствие, а только насмешку к себе.

Мне надо было спешить, я уезжал.

Прощанье наше было печально. Я не мог выговорить слова. А товарищ, крепко пожав мне руку, глушил мне в дорогу душу безнадежным заклятьем:

Да, в сердце не живом зеленым дымом  
Отверженных надежд струится яд,  
Как ночь в краю глухом и неплодимом,  
Под саваном немых лесных громад...

Это были стихи из его книжки, что вышла когда-то в Питере.

---

# Бесенок.

Рассказ.

В снежном облаке, в темный вьюжный вечер, разметая сугробы и давя зевак, с бубенцами, пронеслась по праздничному гулливому селу, полному *корогодов*, на лихой тройке—Зинка, помещицын приемыш—маленькая, краснощекая и востроглазая хохотушка в белой шапочке и бархатной шубке. В каком-то городе училась девушка, доканчивала там какие-то курсы. За нею приемная мать посылала на станцию тройку борзых,—любимица была приемыш у старой помещицы,—ну, и баловала ее.

Но в Турайке селяки недолюбливали *бесенка*; так прозвали взбалмошную кудрявую девушку мужики за ее неугомонный нор и колдовские, недобрые глаза. И теперь, толпясь *корогодом* под повестью, шарахались от борзой тройки, кричали тревожно: беду везет бесенок, Зинка-то; каждый раз, как только прикатывала она в Турайку, тут и стрясывалась беда: то красный пех по крышам гулял, то мор обыскивался по деревьям.

Не с добра она нагрязнула в темную вьюгу в Турайку. Того и жди, голод будет.

Да и не одна она, а с каким-то волосатым, молодым черным баривом-стрикулистом—ишь, как обхватил ее, бесстыдник, в санках-то! Тоже на ведьмача похож. Надо держать ухо остро.

На утро, когда зеленое зимнее солнце, взвившись на огненных крыльях над серебряным от инея лесом, рассыпало горы алмазов по крышам и сугробам—мужики успокоились. Дурь нашла,—вьюга крутила, вот и боялись беды. А в солнце да в морозную алмазную крепь какие ж страхи страшны?

А Зинка носилась уже на лыжах с барином-то своим по полю да по оврагам, каталась вперегонки. Белая шапочка у нее была на бекрень, юбка—по колена. Розовые щеки цвели, точно маки. Глаза горели—спорили с огнем—солнцем.

— Держись, гей!..—кричала она спутнику, летя под горку вихрем, в столбе снежной пыли.

И оба, схватившись за руки, барахтались в снегу, хохотали, целовались—будто невзначай. А потом, вкотив на бегунах-лы-

жах в село, собрали вдруг мужиков. Зинка, хохоча, сразу же и выпалила:

— Поздравляем, товарищи! Теперь у нас республика. Трудовая. Нигде в мире нет такой республики—трудо­вой. Только у нас, в России. Земля теперь и воля, как говорится. Царя—по шапке, хотели президента—тоже по шапке. Сами собой управлять.

— Как? Што такой?

Волосатый барин, взобравшись на завалину и рубя рукой, точно топором, кричал—грозил кому-то:

— В Петербурге мы сконцентрировали... и благодаря нашей концентрации...

— Не в Петербурге, а в Петрограде! — гудели голоса.

— Теперь опять С.-Петербург переименовали... — рубил черно­волосый Зинкин спутник.—Название Петроград дано царем еще, как результат прежней шовинистической пропаганды империали­стической клики. Но пролетариат, сконцентрировав свои силы под красным знаменем интернационализма...

Мужики, горестно и нахмурившись, разводили руками в за­глушенном ропоте:

— Может, и хороший он, да больно мудрует... Куда нам, темноте!.. Вот Зинка молодец. Мы думали, беду привезет, а она—радость. Земля теперь, кажись, наша. Только бы вот по­нятней растолковывали бы нам. Ничего не понять.

А черно­волосый кричал громко и мудрено. И под конец, сжав кулаки, сгоряча, в беспамя­тстве указывая будто на девушку в белой шапочке, притопнул:

— Бойтесь, товарищи и граждане одного — контр-революции. Ждите ее! Мы вот, я и Зина дрались на баррикадах вместе за ваше и наше счастье. Теперь все завоевано. Сумейте все это удержать. Бойтесь контр-революции! У буржуазно-реакцион­ных элементов один шанс на прежние привилегии—это контр-революция.

— Опять непонятно! — роптала толпа.

Поняли мужики только одно и крепко затаили в сердце: ре­волюция—это радость, земля и воля Варвара великомученица, святая. А контр­революция—тьма, удушье, колдунья с недобрыми глазами. Ну, и, радуясь, хмурились. Быть все-таки беде! Не даром же и раду­гу сегодня видели над снежным полем: вѣщий это знак.

А через три дня все, от мала до велика, ходили с красными флагами по селу, праздновали праздников праздник—отво­еванную у аспидов-помещиков землю. Вертелся тут и бесенок с своим завсегдашним спутником-женихом или так знакомым, кто его раз­берет! Мужики замотали это себе на ус, да и подальше от не­прошенных друзей. Срамота одна: открыто, при всех целуются.

И вечно, точно котенок, мурлычит и ластится с волосатым Зинка, как будто они уже муж и жена.

— Ты ведь мой?—спросит вдруг его она.—Ты—сильный, благородный. Я на все из-за тебя пойду. Да?.. Мы будем слушать народу... работать... Ты ведь любишь меня.

— Люблю тебя...—закатывал глаза, притулившись в сенях сборни к стене, шептал прерывисто черноусый, горбоносый друг Зинки.

В сборне ликовали и буйствовали мужики :

— Теперь—специальная революция, одно слово!.. Смерть буржуазам! Земля и воля. А орателей нам больше никаких не надоть! И подлаживаться барам к нам нечего... в три шеи будем гнать! Дьяволово отродье.

Зинка, повертевшись и поразнюхав, чем дышут мужики, зашла в усадьбе, и больше не показывалась на люди.

Волосатый молодой барин тогда ж удрал в город.

Как-то весной у помещицы на крыльце под зорю подкидыша наши.

— Зинка ж и подкинула...—шалтали бабы. А сами крестились и отплевывались: волосатый тот постарался...

Мужиков же контрреволюция мутила. Прошла молва, будто ею полонены уже все соседние деревушки. А не сегодня—завтра нагрянет она и в Турайку.

В сборне—гул, крики. Комитетчики сзывают громаду, готовятся к бою. Отовсюду к сборне спешат толпы бородачей, размахивают руками, грозят: райо ведьме—контрреволюции-то---кльки казать, турайцы постоят за себя!

— Близо уже?

— В Анисимовке,—шалтают.

— А какая она собой будет?

— Известно какая—Яга... Молодая еще, стерва, а, бают, люта. В Анисимовке какие смельчаки находились, а как увидают ее, Ягу... так и торопеют...

— А заговоры-заклинанья?

— Не помогают! Ну, да мы и без заговоров справимся о нею!

В нахмуренных взорах—гроза. Словно в Велик день лякует мир, гудет, празднует землю и волю. Пускай каркает черная ведьма—не закаркать ей ярких зорь!

Бабы свое: светопреставленье да светопреставленье. Антихрист пришел в мир, конец свету. Знаменье есть. А знаменье вот какое: кто от трех дев невенчех родится, мужского пола—тот и есть антихрист.

Старая помещица—сама подкидыш девичий, да и Зинка, приемыш ее—подкидыш. А у Зинки уже сын-подкидыш—мужского пола. Вот и гадай—кто антихрист, а кто мать его, контрреволю-

ция эта самая, великая блудница. И блудница-контрреволюция пришла, и антрихрист-душитель от нее народился. В писании все сказано, что и к чему.

Но грядет, грядет на победу и погибель антихристову царь славы, огненный Христос.

Ей, гряди, Господи!

Гудёт мир. А у бесенка, у Зинки, и заботы мало: все также хохочет да ерничает. Распеваает по саду песни залихватские.

Но, подметив, что песни да хохоты не помогают,—мужики не перестают коситься на нее,—ударилась вдруг в набожность.

Собрала у себя в усадьбе богомолок, калик, стариков—и ну стращать их геенной огненной.

— За что нам геена?—всполошились в тревоге старцы.

— А за чужую землю. Я ведь сирота. А вы у меня с приемной матерью землю вот отбираете. Бога вы забыли.

— Кто Бога забыл? Коли земля, так на то революция. А Бога—ни-ни!

— Да вы же! Клевету распускаете про меня... будто я — ведьма... и будто...

— А ты не хороводься с орателями всякими... вот и не будут считать ведьмой. Креста ты опять же никогда не делаешь. Мы что ж, мы Бога не забываем. А рыволюция—дело Божье.

— Ну, уж там, на Страшном Суде все разберут—всех отправят в ад, кто на чужое добро посягнет,—грозит и стращает Зинка.—Скоро светопреставление, скоро. Когда весь свет загорится—посвистите вы тогда с своей землей. Аминь.

— Ой ли?

— Я не шутки шучу. Вот если мне с матерью оставите дом с парком и лесом, тогда дело другое... тогда вас помилуют на страшном суде.

Калики, ухмыляясь, поддакивают. А сами держат у себя на уме: земля не сгорит, и мужики в ад не пойдут, все это брехня. За что мужиков в ад? За то, что пот и кровь проливают? Бог не ад, а царство свое открыл мужикам—землю и волю.

Без земли, хлеба—смерть хлебопашцам. За зиму у турайцев с голодухи пораспучило животы,—от ветру повалились. А у помещицы—амбары ломаются от хлеба, мыши точат.

Ну, и надумали турайцы, пока еще не нагрянула контрреволюция-душегубка мужицкая, взять у барыни-помещицы все. Не грабежом—Боже упаси!—а законом.

Недолго думая, шлют к старухе-помещице гонца-посла,—так и так, мол, гражданка, пожалуйста в комитет, запасцы, да сенцо старое, да стульца с зеркалами у вас отбирать будут.

Навстречу послу с крыльца сбегает вдруг барышня-бесенок, бесятся, топают маленьким каблучком.

— Плюю я на ваш комитет!.. Подождите, мерзавцы, придет контр-революция — узнаете кузькину мать! Я за вас же боролась, меня самое контр-революция страшит.

— Это мы очень хорошо знаем. Скоро она кльки покажет, ведьма. Затем и торопимся. Страшно, говоришь, ведьмой оно быть?

Толоку под озимь запахали уже господскими лошадьми, плугами и боровами. А за подушки, что поразобрали, заплатили по пять карбованцев, как полагается. Барышня-курсистка востроглазая деньги взяла (губа не дура!), а только поклялась, что мужики в тюрьме сгниют, когда придет конт-р-волюция, а то и просто все будут перевешены.

— Мне-то все равно... — вертелась она, кусая губы и бледнея. — А вам будет худо.

— Бог не выдаст, гражданинка, — ухмыляются бородачи, — свинья контр-волюция ваша не съест.

Но все же в суровых страдных глазах мутный страх.

У страха глаза велики. Раскумекали мужики, что бесенок-барышня просто стращала. Пришли к ней в усадьбу.

— Что надо? — выскакивает на балкон Зинка.

— А то... го-го!.. — гогочут старики. — А где ж ваша контр-волюция? Испугалась, лярва? Мы, чай, не анисимовцы... Живыми в руки не дадимся... Сами погибнем, а ей голову открutum.

— Придет еще!.. — кричит Зинка.

— Го-го!.. Гы-гы-гы!..

— Вы думаете, я зря говорю? — выхватывает вдруг барышня газету. — На-те, читайте!

В газетине, глазам своим не веря, читают мужики, будто и впрямь контр-волюция поднялась. А вызвали ее будто те же мужики — грабежами да бесшабашеством своим. Но тут же селяки и спохватываются: да ведь это богатеи — антихристово отродье — вызвали ее. Кто же поверит, что беднота выкликала на себя на свою же голову, душегубку, контр-волюцию, ведьму заморскую?

— Это все антихристовы да ведьмины штуки, — бросают бородачи газетину. — Нас не провести. Ваши это проделки, антихристово отродье! Признавайся — ты?

— Что? — бесясь и бледнея, путается уже Зинка. — Какое это еще антихристово отродье? Сволочи!

— А такое... У кого отца настоящего не было — те и есть антихристово отродье. У вас был отец, барышня? Нет? Вы помните его? Слыхали про него? А недавний подкидыш. У него отец есть? Это не ваш ли сынок будет?

Побесилась, поохотала, поплакала барышня, а все же смекнула, куда загнули мужики.

Приемыш она, это все знают. Но ведь и отец у нее есть! Какое же до этого кому дело? Озверели мужики.

В пику мужичью вытребовала Зинка из города какого-то старого калеку. Да и пустила слух (а может, и правда это была), будто калека—ее родной отец.

И чтобы ужалобить мужиков и хлеба у них на живую душу раздобыть—отвела отда кулаку на харч, будто бы из милости, а вовсе платила тайком что-то из последних крох кулаку за калеку. И все это—для отвода глаз, будто она законного, а не антихристового роду.

Ухмыляются в бороды пахари,—знаем, мол, какой это отец, глаза чтоб отвести да контрреволюцией нагрнуть врасплох.

А все же, видит мир—непорядок. Зря обижают калеку. Старичишка ледащий, руки и ноги отнялись. Уходы за ним пужны, а какие уходы у кулака.

— Ты деньги от Зинки получаешь за калеку? — приступили комитетчики.

— Я?! С калеки?!—ерепенился кулак.

— Ты. А кормить калеку чем кормишь? Зуботычинами?

— Это не ваше дело! Возьмите его себе на шею! Я деньги за другое получаю с барышни, прежние долги—барыня старуха брала под аренду. А калеку кормлю даром, опять же говорю.

— Мы его берем миром на свой харч, а ты пашни водить с панами да деньги за калеку брать—не смей!

— Я по закону. Хотите убить? Так ежели контрреволюция...—узнаете, где раки зимуют.

— А вот пока она, ведьма, не взяла силы еще—надо действовать! Надо трести вас, кулаков!—веяли гривами пахари.

Павское добро разделили дочиста, кулаку налхобучку дали, а калеку взяли миром на свой харч.

— Братцы! Спасибо! — шамкает старик-калека. — Революция—в мою пользу: Именье-то даром оттягали у меня. Мое оно было. А теперь вот и сами боятся мужиков—за калек цепляются, чтоб самим живыми остаться. Зинка - то хитра. Ну, да это мне ж к лучшему. Не дай Бог контрреволюция придет—пропаду пропадом!

— Не бойся, гражданин,—успокаивают его мужики,—пускай только покажется ведьма—на месте уложим.

А Зинка рвала и метала. Кляла мужиков, на чем свет стоит. Грозил каторгой, казацкими нагайками. Сама собиралась палить в мужиков из пистолета—ничто не помогало: мужики давно уже пахали землю на панских же лошадях, волах и плугах, давно уже побили и те зеркала с стульями, что вытащены были из усадьбы и разделены, как будто это было Бог знает когда.

Теперь вот и сево зачали косить.

А сено—корм любимой коровы помещицы. Сама она одряхла, в постель слегла, Зинка за нее орудует. Расстаться с коровой—с жизнью расстаться. Мудрует Зинка.

Открыла вдруг хохотушка, будто волосатый тот молодой барин, что в Турайку зимою наезжал ораторствовать—ее муж. А теперь он комиссаром в городе выбран. Вот она и поедет к нему, чтоб добиться управы на турайцев. Муж—оратор и деятель революции, с Лениным приятель. То-то зададут турайцам жару.

Но турайцам от этого Зинкина выверта ни холодно, ни жарко. Только когда отъезжала в город с ребенком-подкидышем Зинка, пригрозив через мужа комиссара прислать в Турайку конную милицию, отряд карательный, комиссию и еще что-то—мужики сразу как-то догадались, что ведь она то, Зинка-бесенок и есть эта самая контрреволюция, колдунья... Духу еще не набралась, а теперь поехала за силою своею колдовскою. Поймать бы ее, ведьму.

Да поздно было уже ее ловить.

Как-то в знойный, синелетний день убирали турайцы у реки сухие скошенные, пахучие поемы—луга. И вдруг видят: по левой пыльной дороге, из-за рощи идет молодайка, стройная, загорелая, босая, в простом ситцевом платье.

На руках у нее, в кружевных пеленках ребеночек.

— Братцы! Контрреволюция идет!—вспенилась толпа.—Зинка-бесенок, ведьма! Колдовского духу набралась.

Шумит мир, оцетинившись вилами и косами, катится диким шквалом.

— Отхватывай ее, ведьму! Вали напрямик, догоняй!

— Косой ее, косой по башке!

И вот толпа, вдруг остановившись, как вкопанная, замолкает, тупит взгляды. Ведьма-то дрожит вся, как осиновый лист. Глядит в страхе на рассвирепевшую громаду. Онемела от страха, не дышит.

Кто-то хрипло из задних рядов рявкает:

— Губить нас пришла, стерва? Кровь нашу пить?

Но и осекся. Молодайка-барышня, дрожа, плача и прижимая ребенка, шепчет в трепете, безнадежно и глухо:

— Куда ж мне теперь? Я сирота... И еще ребенок... Я не виновата!.. Теперь хоть убивайте—мне все равно... Чем я буду жить. И моя мать-старуха? отвернулись от меня... все... муж... что приезжал сюда... бросил... Обобрал и... бросил... мать прокляла, выгнала. Я не виновата. Примите меня к себе, землячки мои... Я буду работать с вами. Или... или убейте меня тут же... мне все равно.

Дрогает громада. Гудит уже в один голос:

— Зачем убивать? Мы не звери какие.

А в желтом зное летится раскатистый веселый грохот:

— Ну, и дьяволы эти наши бабы! Наврут с три короба, а ты разбирай, верь! Какая ж, скажем, Зина—ковтывалюция? В чем душа держится. Куды ей губить нашего брата—она сама на ладан дышит.

А Зина дрожит—не то от радости, не то от жути.

— Вот... ребеночек...—глотает она соленые слезы.—Родненькие мои... ребеночек-то—мой!

Мальчик укаает, барахтается в кружевных пеленах.

— Вот грех-то! — сокрушаются бородачи. — Мы знаем, сердешная, что твой. Да глупы бабы шалтают разные глупости. Будто, антихрист это народился.

И бородачи, улыбаясь, тянутся к мальчику корузными руками.

— Красавчик-то какой, чистый ангелок!

— А оратель-то твой, зныть, махни-дралы?..—сокрушались бабы.—Ах, грехи... Сказано, оратель, ну, добра не жди.

Кто-то из баб всхлипывает.

В желтом зное голубой ветер лениво колеблет ароматы сухих цветов и трав, перешептывается с надомутным камышом, будто говорит: «Какое мне дело, люди, до ваших горестей, смеха и слез?»

# Воскреснет!

Хочу, чтобы интимное стало мировым.

Ф. Сологуб.

У меня нет слез—они все выплаканы; нет света—душа моя ослепла от страданий; нет голоса—я говорю шопотом.

А какое это счастье—буйный, отчаянный плач навзрыд, надежда на утешение покаянная!

Я ищу утешения в жертве—я несу мою жизнь и душу в жертву. Бежало от ужаса все живущее, а я над полем, замешанным кровью и потом, пел песни радости. И, благословив земное, отдал несчастным землякам своим отверженную мою душу и жизнь—больше отдать нечего.

Я пришел в деревню, где вырос и прожил почти полжизни. Когда-то я пахал здесь чужую землю, а потом бросил родные поля, проклял скудную жизнь батрака, с кровью вырвал ее из груди и ушел в город. Хата моя в деревне была разломана и все следы заметены.

В городе понесли мы, я и мои духовные братья-светодатели, трудную, но радостную *работу Господню*. Мы ходили по рабочим кварталам, по стогнищам, по вертепам; помогали заблудшим, озлобленным и немочным. Главное же, главное—мы зажигали их любовью, попадающей как огонь, *любовью, ревнующей о Божьем и светлом граде* и о тайной, скрытой правде души. За нами ходили уже толпы осветленных ближних—воскресших: пьяницы дали зарок—не искать проклятого зелья, не мучить себя и близких; развратники—не осквернять землю и души, жестоковыйные—созидать в себе сердце чистое и зрящее Бога, и сотворить благо и милосердие. В какой-нибудь месяц, другой рабочего квартала нельзя было и узнать. Куда девались пьяные крики, драки, а то и убийства? Где мерзость запустения, приниженность, жестокость? Мы зажгли в душах заблудших и коснеющих любовь пополающую, и вот в ней, как в огне, истлела муть жизни.

\* \* \*

За это-то нас и возненавидели.

Я вернулся в деревню, неся в жертву последнее, что у меня осталось—душу.

Кормильцы и работники ушли сражаться. В деревнях оставались только старики, да женщины, да еще дети—много детей.

Со мною была больная старуха мать. Ей отвели избу, дали хлеба. А меня посадили читарем в сборне сельской, где я и читал газеты—зачитывал землякам лютую их тугу.

Мне как будто обрадовалась вдвойне: старого земляка, вишь, спасли с матерью от голодной смерти, и читаря бесплатного нашли—зачитывает их горе лютое. Не радостна была только моя душа: когда я повел как-то речь о любви попадающей, о душах взыскующих града—меня никто не вздумал и слушать, только какой-то старик.

— Ты это о себе... аль о нас? Мы, брат, спасены. Нас неча спасать.

Тогда я, бросив сборню, пошел из избы в избу, помогая немочным и недужным—лечением, работой, светом, утешением.

На меня еще пуце:

— Помог, таж, думаешь, и спасся? Да мы-то не желаем, чтобы ты на нашей шкуре душу свою спасал!

А когда я вышел в поле работать за одну больную бобылиху, старики прямо набросились на меня с проклятиями и угрозами:

— Как ты смел выходить в поле? Брехал бы языком лучше!

\* \* \*

Из ночи в ночь кто-то лютый поджигал села. Как только поле окутывала ночь,—то на востоке, то на западе, то на севере, то на юге плясало зарево над соевым долом. И, охваченные ужасом, толпы мужиков метались по оврагам, тщетно спасались, тщетно гонялись за поджигателями. Говорили, будто поджигают беглые. Или свои же осатанелые душегубы. Или кара от Бога,—ангел мщения поджигает села кровавой звездой.

А я открыто ходил по селам. Мне и невдомек было, отчего мужики прятали от меня глаза, а на мои расспросы об их горе загадочно отмалчивались.

А бобыли, немочные, и вовсе бежали от меня, как от чумы. И теперь для меня ясно было, что *жертвы моей земляки страдали, как какой-то кары...* Когда же увидели, что моего участия,—ревности моей им все-таки не избежать,—они ощерились на меня.

— Убить его, анафему!—кричали в толпе.

Отступал я, шепча бессмысленно, плача от обиды.

— Чем богат, тем и рад. Ведь я и душу свою в жертву принес. Я не беру, а отдаю.

— А-а-а!.. Жертва! Отдаешь... Поджигает, а жертвой глаза загораживаешь.

Кто-то ударил меня в затылок и сбил с ног.

— Убить его! Чтоб другим не повадно было!

— Много будет чести бить его!—ухал толповод, сивобородый старик.—В кутузку его, вог и вся недолга! Законопатить, анафеме, в каменный мешок. Пропадет охота!

— Сумасшедшие,—кричал кто-то,—да кой же ему прок поджигать!

— А такой: подожгу, дескать, поделаю нищими, а потом начну помогать. И меня, дескать, на руках за это будут носить. И душу свою, дескать, спасу...

И еще что-то выкрикивали, но я уже не помню, что со мной было. Только в каменном мешке я догадался.

\* \* \*

О, многострадальная родина, прости мне безумную мою любовь к тебе, нежная мать. Пощади ты меня! Устал я смертельно.

Или молитвы мои тебе необходимы—так глухо и люто гудит в окне ветер твоего дикого простора.

Но услыши, услыши, родимая страна, как велика и пламенная любовь моя к тебе, вспомни и прости меня! Имя твое—радость мне!

Только что приходил ко мне сивобородый старик из села, толповод. Он принес мне медный тельник—благословение моей матери. И весть о ней.

— Прости ты нас!.. Голубь ты наш!.. Прости!..—падал старик мне в ноги.—Нечистый попутал нас... Мы не виноваты.

— Простит Бог...—подымал я его.—Ты из села? Как там моя мать? Жива? Когда благословение посылала, ничего не велела передать мне больше? Ничего не говорила?

— Да что ж... ничего...—повел старик затуманенными слезами глазами,—только, вишь ты, несчастье. Сгорела.

— Сгорела?

— Не мы виноваты! Серцо,—грохнулся на пол опять старик,—поджигатели ходят теперь по селам... Внадысь поймали одного. Мстят мужикам. Наше село, ведашь, тоже сгорело. Ну, и матушка твоя... А перед тем будто чуяла. Позвала меня. «Передай,—говорит,—сынку в подземье благословение», сняла с себя крестик и отдала.

А мне нечем было дышать.

— Жалко тебя до смерти,—убивался старик,—а только чего ты полез... с жертвой этой самой? Поздно теперь жертвовать. Кто друг, кто недруг — не разберешь теперь. А коли совесть твоя нечиста—нечего жертвой ее обелять. Лучше выйди на раставь, покайся миру. Вот как надо это! Тугу нашу хотел ты заглядить. А нам нечего заглаживать, коли сердце разрывается.

\* \* \*

Прошла осень, прошла зима. Прошел мимо меня мир, затерялся в безднах. И время, остановившись, точно соляной столб, растаяло потом, кануло в вечность.

От старика давно уже и след простыл. И сколько дней и ночей, сколько недель и месяцев томился я в подвале—в живой могиле подземелья—не помню. Здесь я поседел, оглох, ослеп. Пыткой уже стали для меня радость, свет. Жил я теперь только воспоминаниями—цветами прошлого. Но и в тумане прошлого развеялись, как светлый сон—жар души, юность золотовейная, любовь.

Прости, прощай, знойнозвездная заря моя, невозвратная молодость!

Жутко и страшно заглядывать в зеркало былого: встают грозными призраками кошмары страсти, унижений и мук. И страшно от света и жизни. Своды подземелья—защита моя от жизнедатного солнца—радости. Да, понял я, что радость бессмертия—ад для отверженца. Небытие—последняя для него радость, последнее освобождение.

За что, за что отвергли и прокляли меня кровные?

За что сожгли мою мать?

А я живу. О, воистину ад дьяшася жизнь моя. А ветер гудит и машет черными крыльями вещаний над мертвым подвалом. И я, прислушиваясь к голосам бурь, глубже забиваюсь в угол.

И лютее муки мои, и страшнее ад.

\* \* \*

Но что за клики восторгов слышу я вдруг сквозь голоса бурь и ужасов?

*Как будто ангельские сладкозвонные хоры поют над душевными сводами. И голубой луч пронзает мне сердце вдруг животворящим мечом. Дыхание фиалок бьет мне синей волной в лицо.*

Весна! Солнце в раскрытой двери! Радость!

— Революция! Воскресения день! Воля вышла!—гудит ликующая нахлынувшая толпа за плетневой дверью.—Эй, заточ-

ник! Выходи! Ты спасен! А мать твоя жива. Воскресла, не иначе!

Сивый толповод, тот, что когда-то справлял тризну надо мной в подземелье, теперь уж тащил меня на солнце, сам пьяный от весны, восторженный.

Кричал вдохновенно:

— Выходи! Ты—наш теперь! Ты—не поджигатель, ты водитель наш! И магушку твою в больнице отходили. Из мертвых воскресла, будто, а?!

Толпа гудела стократным эхом, подтверждала:

— Воскресла! Все мы воскресли не наче!

А я, захлебываясь светом, радостью, шептал благоговейно: воскресла? Да, да! Если не воскресла, то воскреснет.

Воскреснет!

## В свете бурь.

### I.

Под вечер, когда деревня толокой дожинала ржаное поле, по шляху вдруг промчался с красным пакетом нарочный. Мужики переглянулись: в красном пакете добру не бывать.

— Никак война?

— Похоже на то.

Заревели бабы. Сбились в кучу перепуганные ребятишки, недоумевая, где же война, когда никто не стреляет. Покрякали опасные, но делать нечего, побросав серпы, побежали в деревню.

А там уже металось, как угорелое, деревенское начальство и собирались толпы. Над всеми, как страшная, готовая сорваться гора, висело одно: война. Страшно было то, что о прежних войнах говорили задолго до их начала, готовились, а теперь все неожиданно, как снег на голову.

В сборне Панкрат, читарь и писарь сельский, растрепанный, бледный, с горящим сухим взглядом, размахивая руками, читал с крыльца во всю грудь истрепанную порванную летучку, привезенную нарочным из города.

— Началось!—кричал он со скрытым каким-то не то ужасом, не то весельем.—Весь мирная война! Австрия на Сербию двинулась и на нашу границу. На нас собираются еще германцы, венгры, турки, румыны, болгары. Пушки везут в Турцию через Румынию и Болгарию—все на нас. Ишпуг!

— А за нас кто ж?—гудела толпа.—Куда ж это ваши глядят? Союзников нету!

— Французы за нас. Англичаве... Ишпуг!

Мужики махали руками безнадежно:

— Хранцузы—те далече... Им впору самих себя спасать. Немец, он хитрый, дьявол. Сколько его по всему свету, немца-то! Хранцузы он дорогу загородят, а на нас все силы двинет... басурманов разных... венгеров...

— Ничего!—подпрыгивал Панкрат, тряся листком.—Россия коли подымется, с нею шутки плохи. Ха!—метался читарь, сыпля огонь.—Будет битва!

— А там, может, и земли дадут.

— Дадут! Урра! Достать четвертуху!—сыпались на стол медяки.—Дербалызем напоследок! Где наша не пропадала!

Загудели, загикали бородачи: не все еще потеряно — будет четвертуха. А там видно будет, что и как. Одолела маета, скорей бы свободы, хоть на войне.

Десятский, разогнавшись, жадно заскреб медяки и помчался без шапки в монопольку.

У завалин выли все также дико и отчаянно, поразбросав по улице детишек, бабы.

В сумраке десятский, несясь уже из одного конца деревни в другой, отчаянно кричал так, как кричат: пожар, спасайте!

— Братцы! Закрыта! Не прозевать бы у Алены.—хрипел он, скрываясь за переулком.

Толпы мужиков глядели ему велед подозрительно, размахивали руками, кляли судьбу.

## II.

Война, небывалая дотоле, грозная, точно дракон, захватила полмира; и мужики только ниже опустили головы, как бы готовясь принять последний и страшный удар судьбы. Переносить несчастья и беды им было невпервой. Моровые язвы, смута, тоска, мертвое дыхание зноя, пожары, голод, тиф, цынга,—все это почти из года в год проносилось над деревней и пожирало жизни. Мужики так привыкли к этому, что если выпадало счастливое лето, когда яркими щедрыми цветами цвела земля, а вдалеке манчили голубые молнии, то это принималось за мимолетний праздник или светлый короткий сон.

Жили селяки, молясь и проклиная, неизвестно кого—себя ли, свою судьбу или жизнь. Над чужим полем работали до кровавого пота. Но в каждом горела надежда на свое поле и радость жизни. А донимала судьба—искали утечи в горькой. Пропивали надежды.

Панкрат, впрочем, не пил. Но он не так уж был глуп, чтобы верить в счастье и радость мужика, пускай кое-что и знающего, но все же мужика.

Темны были думы Панкрата. Проходила молодость, любовь проходила. Над ним насмеялась та, что отравила сердце его ядом несбыточных надежд—девушка из усадьбы.

В усадьбе она жила с братом. Мать, старуха-чиновница, как-то весной взбираясь в мезонин, сорвалась с лестницы и отдала Богу душу. Дочь служила где-то в городе, но приехала хоронить старуху. А потом, оглядевшись, осталась жить на лето во флигеле, скрытом столетними шумными липами.

Как-то барышня зашла в сборню. Панкрат, широкоплечий, гибкий, в суконной блузе, расставлял по полкам книги. Девушка,

обдав темным огнем глаз смуглые, загорелые щеки юноши, кольнула его в сердце, чуть-чуть покраснев, сказала:

— А я совсем случайно узнала, что у вас тут библиотека, деревенский клуб, так сказать. У меня есть лишние книги. Их можно собрать.

А потом ушла.

Но у Панкрата весь день было больно в груди от ее темного глухого взгляда, а к вечеру он не утерпел-таки, пошел во флигель за книгами.

Девушка, раскрытая, томная, в тонком белом платье, качалась на крыльце, в упор глядя на юношу исподлобья, и вдруг, будто нечаянно пошатнулась, обдала его огненным дыханием губ, а ее грудь знойная, упругая, касалась его сердца.

— Книги? Какие книги? Ха-ха! Через неделю придите!— дрожала она в зное.

А когда через неделю Панкрат пришел в усадьбу, его встретил какой-то не то чиновник, не то прощальга в сюртуке, с багровым носом и полбутылкой сивухи в руках, должно быть, брат барышня:

— Увлеклись, молодой человек? Хе-хе! Дело весьма понятное-с,—повел он мутным, зеленым глазом.—Но вы не приняли того в расчет, что у барышни есть в некотором роде опекун... ваш покорнейший слуга... Да-с! А при том позволю себе напомнить, что барышня—не вашего круга... и что в делах любви... нужно быть твердым... по финансовой части. Понимэ? Я, сознаюсь, по этой части весьма слаб. Иногда не хватает и на шкалик. Но зато я твердо опекаю вверенную мне особу! Да-с!

— Мне нужно видеть барышню, а вас я не знаю,—сказал Панкрат.

— Друг мой!—склонил красноносый голову, прижав полбутылку к сердцу.—Я верный пес сестры, я не позволю. А при том, на все она, с вашего позволения, плюет, кроме денег. Да-с! Так и вам велела передать.

Теперь Панкрат знал, кто такая эта загадочная девушка из усадьбы. Но тем страшнее мучили его—и ее жгучий страстный рот, и глухой темный взор, и грудь, трепетная и знойная. Он дал себе клятву взять эти глаза, эти губы и эту грудь и выпить их, может быть на глазах ее пьяного брата и пса, которым она осквернила его первую любовь. А потом насмеяться над ее продажным и страстным телом—ведь насмеялась же она над его душой!

Но слышались бури, и неведомые, горные голоса поднялись в сердце.

### III.

Как это вышло—никто не знает. А только, точно неведомый благодетельный свет прошел над землею, овеял многострадальную деревню: ждали свободы, света бури.

Провожали земляков до станции. Бабы еще ахали и убивались и все также вздыхали по четвертухам старики. А запасные угрюмо кому-то грозили кулаками, уходя. С ними уходил и Панкрат.

Когда же в поле перед станцией сошлись тысячные толпы с грозными загадочными кликами и молитвами и над усыпанным стрелами солнца долом, все увидели, что случилось чудо: воскресли надежды... Страшны будут битвы, но велики надежды—надежды на землю, на лучшую долю, на радость жизни. Будут бури!

— А ведь не пропала еще российской земля?—подталкивал Панкрата в бок сосед запасной.—Мы еще потолкуем?.. Нам бы вот только винтовки в руки поймать, а там мы их скоро не выпустим! Всамдель: лупцуй пузача немца, а там дело видно будет! И то сказать, позагнали нас в болота немцы, а себе лучшую землю заграбастали. И у кого! У нас же! В Россее!

— Ну-у?—удивлялись другие.

— Верно говорю. В Крыму, на Украине, на Волге—все пузач немец! А хрестьянству одно советуют... иди, мол, в Сибирь, к чорту на кулички! Ну, мы ж его посоветуем!

— Эй, бабы! Марш по домам!—командовал какой-то усатый унтер.—Мы едем за счастьем, а вы реветь? Стыдно, бабы!

Бабы, вытерев глаза, утихали. А потом прощались:

— Ну, что ж делать. Идите с Богом! Бог не забудет хрестьянство на небе, да и на земле. Может, земля, воля будет.

— Ура, бабы!

Пошли светлые, таинственные дни трепета и надежд. Мужики отдавали на войну последнее, окрыленные солнцем веры в победу духа, несли молитвы свои и души туда, на поля брани, к братьям-воинам, что в смертной битве ложились костями за правду и свет, за чаемые близкие бури.

Когда-то, отчаявшись найти долю и правду, искали селяки снов в горькой. А теперь сами молили Бога, чтобы навеки сгнила отравы—так велико было чаяние свободы и солнца.

Каждый бросал свое поле и шел помогать женам воинов, а то и нес последний кусок, последнюю рубашку. Каждый возжигал перед Богом свечи о живых и о тех, кто положил живот свой на поле правды и славы.

Прозорливцы молились за Россию. Прислушивались, припав к земле, как гремят и сотрясают мир далекие великие битвы. Га-

дали по звездам о судьбах земли и запечатлевали ветры, да не веют они воинам любви.

Говорили о близком конце мира, о лжепророке и антихристе Вильгельме, который, как и подобает князю тьмы, кощунствует, называя себя посланником Бога, но сам давно уже вступил в союз с ижеменем, чтобы положить свяую Христову Русь.

Но за Россию—Он, Царь Славы: не победить ее никому!

А деревня теперь только и дышала войной. Каждый день в город за летучкой снаряжался нарочный. До его приезда мужики прямо-таки не находили себе места. Ждали почты в сборне, потом выходили за околицу, в поле. А завидев издали нарочного, бежали к нему навстречу, крича:

— Ура! Телеграмма!

Там же, в поле, сгрудившись, читали. Узнавали о подвигах земляков, замученных братьях-сербам, о тоске смертной, неведомой земли Бельгии, задушенной, отданной огню и смерти, о детях, девушках и женщинах, поруганных и растоптанных диким немцем.

Гневом, страшным огнем загорались сердца и взгляды, раздавались крики:

— Что ж это он, кровошвец, делает? Расправы на него нету, что ль? Да мы все пойдем, коли так!

Уж мужики совсем забросили свои хаты, забыли к ним дороги и прямо с поля забирались в сборню, где некли себе картошку, читали газеты, Панкратовы письма с войны: с него было взято слово, чтоб каждую неделю писал в сборню о войне, потому что добровольцев посылают прямо в огонь, ну и любопытно знать, как-то там в огне и чья берет.

Письма короткие. Многие одноподеревенцы уже убиты под Львовом, между прочим, и доброволец-десятский убит, многие ранены, в первом же бою ранен был и сам Панкрат, так, пустяки, пятка раздроблена, но в бой не пускают, а держат в лазарете.

Будут бури!

Так писал Панкрат.

#### IV.

В окнах сборни горели огни. Мужики, разгоряченные, нетерпеливые, ждали из города нарочного с новой летучкой, в сотый раз перечитывали старый, вышедший неделю назад, истрепанный листок и стараясь как бы между строк разгадать, узнать, чья берет. Сорок лет готовил войну проклятый немчура, втравил нас в войну с Японией, чтоб потом было самому легче воевать, но русские, все-таки одолевают. А все оттого, что хрестьянство взялось: коли уж хрестьянство взаправду пойдет, то шутки плохи.

Проскрипела телега на улице, остановилась у сборни. Мужики, выскочив, в сумраке чуть не сбили с крыльца согнутого, опершегося на костыль Панкрата.

— Ты вот что: ты и порога не переступай, коли повостей не привез...—чмокались с ним бородачи.—Газетину привез?... Говори скорей—душа мрет без газетины!

— На побывку отпустили—видите?—ликовал Панкрат. — А газету—весь город избегали, но газеты не захватили... Беда! Но я достану, братцы.

— Где?

— В усадьбе. На почте узнал—туда шлют газеты.

— У того прощальги хотел ты достать? Ха-ха!—хототали мужики.—Ведь он теперь там полный хозяин—он наследник... Все кружится по саду. Водки нету: кружится!

— Да? Ну, я не таким-то рога обламывал!—все громче и громче ликовал Панкрат.—Пойдемте со мною, я живо все это.

Мужики двинулись за Панкратом.

Когда вошли в флигель, красноносый, выпятив грудь и откинув тряскую голову, грозно прохрипел на Панкрата.

— Эт-то еще что?! Что надо-с? Зарежу!—кинулся он, брызгая кровавой слюной.

Но его уже вязали мужики, а из соседней двери вдруг выскочила растрепанная, с безумным глухим взглядом девушка. Схватила Панкрата за руки, упала на колени:

— Я пропала! Что мне делать! Он мой брат, но он сошел с ума. Он держит меня под замком. Что мне делать!—бились она, ломая руки и задыхаясь.

— Успокойтесь, сестрица...—поднял ее, бережно держа за руки Панкрат.—Мы ему обломаем рога. В полицию, освидетельствуют, да в желтый дом. А нас простите, сестрица родная, за газетой пришли мы,—kozyрнул он.

А в душе у него цело и как струна дрожала сердце.

— Вы... были ранены?—глухо, сквозь смертельную боль, бледная шептала спрашивала девушка.—Вы... нехорошо думали обо мне? Тяжело мне. А вы... вы...

— Сестрица, не надо...—шатаясь от любви, размыкал худые ее руки Панкрат.—Я скоро уеду... опять в огонь... А вас не забуду!

— Люблю...—уже выйдя за дверь услышал Панкрат.

В старом засыпанном сухой листвою саду разносились крики сумасшедшего—его несли мужики в сборню, чтобы сквозь ночь отвезти в больницу.

Осенний глухой ветер гудел в вершинах, гоня сухие листья. Тревогой наполнились поля, кличем борьбы. Но загоралась звезда над лесом—как будто ей не было никакого дела до того, что делалось на земле.

— Кто это?

— Я, Панкрат Сергенч. Староста. Вот вам с дороги история-то! Мы давно собирались отправить его, да боялись, зарежет. Смелости не хватало. Ну, что слышать на войне?

В гуле ветра, пробираясь через осенний занесенный лиственный сад, Панкрат рассказал то, что слышал от одного земляка в войне: весь сыр-бор загорелся из-за России. А Россию положили душители-жандармы. Пока не освободят ее, до тех пор Россия не воскреснет. Вот почему воюют.

— А как освободят—тогда что?—спросил староста.

— Тогда не та песня будет...—отвечал Панкрат.—Будет буря! Ветер, вскружив листья, подхватился и загудел вверху, как бы подтверждая: будет буря.

---